

Теодор Томаш Еж (Зыгмунт Милковский)

Одесские воспоминания

Варшава, 1893 год

Зыгмунт (Сигизмунд) Милковский (также известен под творческим псевдонимом Теодор Томаш Еж) – польский писатель-романтик, публицист, общественный деятель и политик, который боролся за независимость Польши в качестве лидера Польской лиги.

Родился 23 марта 1824 года. Учился в Ришельевском лицее г. Одессы (1843-1846) и в Киевском университете (1847-1848). Принял участие в венгерском восстании 1848 года. После восстания интернирован в Турцию, а затем эмигрировал в Англию. С 1961 года проживал в Румынии.

В 1863 году во время Польского восстания организовал отряд повстанцев, который должен был со стороны Болгарии пройти через Румынию и Бессарабию и двинуться на Подолье для объединения с другими повстанческими отрядами и продолжения освободительной борьбы.

По замыслу несостоявшейся операции, отряд Милковского должен был объединиться в Одессе с высадившимся здесь заранее отрядом Менотти Гарибальди.

Одна из последних фраз книги: «Скорее бы рука бы у меня отсохла, чем я бы в Одессу бросил камень», – объясняется, скорее всего, ответом на упреки в его адрес о причинении вреда городу.

В битве под Костангалией (Румыния) отряд потерпел поражение, был сдан румынскими войсками правительству Австро-Венгрии и заключен в тюрьму г. Лемберга (Львова).

В 1864-1866 годах жил в Белграде, в 1866-1872 годах – в Брюсселе. С 1872 поселился в Швейцарии, где прожил до конца жизни.

Еж был одним из основателей Польской лиги и Польской национальной лиги, которая возникла в рамках Национально-демократической партии. Он был редактором газеты «Wolne Polskie Słowo», выходившей

в Париже. Автор романов, переводов, историко-публицистических работ, политических буклетов, биографий деятелей польской эмиграции.

Вниманию читателей представляем впервые переведенные на русский язык «Одесские воспоминания» Зыгмунта Милковского, изданные в Варшаве в 1893 году.

Стелла Михайлова

О, да! Молодые годы – это весна, улыбающаяся очарованием, трезвонящая предсказаниями, домыслами и надеждами, представляющими будущее в виде идущего в бесконечность триумфального похода. О препятствиях не думается. Или, скорее всего, о них думается, но даже не допускается мысль, что на жизненном пути возникнет преграда, которую преодолеть или растоптать было бы невозможно. Нет такой преграды! Что может противостоять той бурлящей силе, которую ощущает в себе девятнадцатилетний юноша?

Мне было девятнадцать лет, исполнившихся в мае, когда я впервые ступил на одесскую брусчатку. Давно это было – ох! Уплывшие года промчались очень быстро – в движении и труде, а когда еще год пройдет, будет этих лет, которые сегодняшний день отделяют от того – для меня памятного, ровно пятьдесят. Да, пятьдесят. А это значит – полвека.

Мы ехали из Немирова в Балту, из Балты в Ананьев, а дальше степями и чумацким трактом. За Балтой начинался для меня край неизвестный. Попал я в места, где «воз, словно лодка, в травах тонет». Настоящая степь – широкая и играющая миражами. Что-то похожее, но не совсем то, можно было где-нибудь встретить на Украине. Украинские степи во времена, о которых я пишу, характеризовались хозяйственной деятельностью человека, которая лишила ее изначальной девственности. Тут же эта деятельность проявлялась редко и даже вызывала удивление, представляясь как нарушительница гармонии, господствующей между небесным сводом и просторами, покрытыми самородными травами. Трава выглядела засохшей. При дуновении ветра она издавала удивительный, какой-то нежный и певучий

металлический шелест. Среди нее возвышались торчащие бурьяны – одни важничали тюрбанами, другие же развевались своими хвостами. Вдоль дороги прыгали суслики, точно так же, как увиденные мною позже в море дельфины. Дальше, как будто ряды воинов, сбитыми массаами занимали свое положение стаи дроф, присматриваясь к нашей повозке с явным пренебрежением и с недалекого расстояния.

Не помню, где мы делали привалы и где ночевали. Запомнились мне только ответ еврейки в Байталах, и то впечатление, которое на меня произвел Куяльницкий лиман.

Молодой и красивой еврейке, которая нам принесла какую-то еду, я задал какой-то не деликатный вопрос, на который она мне отрезала: «Не будь пан такой любопытный, а то быстро посеедешь!».

Когда я впервые увидел Куяльницкий лиман, то решил, что это море. Мои спутники вывели меня из этого заблуждения. Из любопытства я даже попробовал вкус воды. Море же представало передо мной на следующий день, как только мы тронулись в путь после ночлега, проведенного в пяти верстах от Одессы на постоялом дворе такого типа, в котором я раньше не бывал. Не представлял я себе, чтобы на земном шаре существовали еще другие, кроме еврейских, постоялые дворы, то есть не имеющие конюшни и под общей крышей с гостевыми комнатами. Везде по дороге, вплоть до Севериновки, мы въезжали в строения, как в туннель. Казалось мне, что так Бог их создал. Велико же было мое удивление, когда бричка остановилась перед отдельно стоящим домом и затем, когда мы из нее вышли, отъехала в конюшню, построенную в глубине двора, обнесенного досками.

«Другой мир...» – решил я про себя.

О, да! Другой. Главное отличие подтвердило, в первую очередь, море, которое мне сразу, после выезда с ночлега, бросилось в глаза, а затем и сам город.

Вид моря обманул мои ожидания. Я мечтал о бескрайности, об устремлении взгляда вдаль и не находящего в этой дали границы, на которой мог бы он остановиться. А между тем граница показалась уже при первом взгляде. Массу воды окружало обручальное кольцо горизонта. Солнце ярко светило, вода сверкала

скользящим отблеском. Было ее много, очень много – больше, чем в видимых мною когда-либо больших прудах. Но это обручальное кольцо фантазию мою сжало, как будто клещами, говоря: «Всегда и всё имеет границу, мой мальчик».

Граница эта мне эффект испортила.

Я чуть было не закричал, как тот крестьянин, который точно так же, как и я, впервые увидел море: «Ого, сколько воды! Не поместилась бы она в нашем ставке!».

Город мне эффект немного исправил.

До этого момента самыми большими городами, которые я видел, были Умань, Немиров, Брацлав, Балта, Винница. Они не превосходили своими размерами Тульчина. Тульчин, находящийся сегодня (как я слышал) в упадке, служил мне мерой сравнения. С Бердичевом я познакомился позже. Так же, как и с Киевом, и Житомиром. Поэтому не было тогда для меня другой меры сравнения, чем Тульчин, – побрякивающий еще эхом давнишней славы, которую ему придавало то обстоятельство, что был он столицей великого и известного пана (скорее всего, речь идет о Станиславе Щенском Потоцком. – **Примечание переводчика**) и украшали его: памятник, дворец, общественный сад и лучшие, чем в других местах, заезжие дворы. Я представлял себе, что большие города отличаются от Тульчина только лишь своими размерами. Одесса же меня совершенно потрясла. Я оказался в городе по-настоящему европейском, полном восхитительных строений, улиц, покрытых брусчаткой, с тротуарами, бульварами, памятниками, магазинами, в которых покупателей обслуживала элегантная молодежь. Такие особенности не могли не произвести впечатления. Я разглядывал все это, как позднее разглядывал различные чудеса, встречаемые на свете. Не могло быть иначе. После наших городов, после магазинов, продающих товары на аршины, я привык к образу серьезного, в «цицеле» хозяина лавки, который торговался до последнего и тараторил, как будто у него во рту мельница вертелась. Как же я мог не удивиться, когда в функции «балабустых» увидел наполненных шармом, напомаженных, надушенных, по последней моде одетых молодых людей, обслуживающих покупателей с салонными манерами. С удивлением глазел я на все эти и на подобные чудеса.

Однако, поскольку не только для разглядываний я в Одессу приехал, то надлежало их на более поздний срок отложить. Предстояло мне заняться поступлением в лицей на один из трех факультетов, входящих в его состав: камерального, физико-математического и юридического. Последний – с отделением секции восточных языков. Кандидаты в слушатели делились на две категории: на тех, для которых поступление было открыто без экзаменов, и на тех, которые должны были экзамен сдавать. Я отнесился ко вторым – нас было около двадцати из различных гимназий и разных национальностей. Приехало и несколько человек из нашей гимназии в Немирове.

Перед сдачей экзамена необходимо было записаться на факультет. Я должен был выбрать один из двух. Либо юридический – чтобы выполнить желание отца, или на математический – чтобы угодить себе.

Я сомневался и после долгой борьбы с самим собой склонился в сторону пожелания отца. Записался на юридический. Как кандидату на юриста мне полагалось сдать экзамен, который я сдал с триумфом.

К экзамену подготовился надлежащим образом и сдал бы его и без помощи, которая совершенно неожиданно ко мне пришла. Помощь появилась, когда я, сидя на лавке, задумался о переводе на язык Вергилия отрывка, продиктованного нам экзаменатором.

Я мысленно размышлял, как лучше и грамматически правильной перевести фразы на латынь, когда один из членов экзаменационного комитета встал из-за стола и сел рядом со мной. Показалось мне, что его целью было контролировать нас вблизи. Пододвинувшись, я продолжал дальше свою работу. Какое-то время он сидел спокойно, потом повернулся ко мне, придвинул к себе мои листки и заданный мне перевод написал по-латыни одним взмахом! Сделав это, пододвинул ко мне лист. Мне оставалось только переписать. Я не упустил возможность воспользоваться этим облегчением, которое чрезвычайно меня удивило. Позже лишь я узнал, что моим неожиданным помощником на экзамене по латыни был Симонович – профессор политической экономии. Почему он это сделал? Никогда я об этом не узнал.

Допускаю, что была это с его стороны просто фантазия, а допущение это тем более правдоподобно, что Симонович относился к категории профессор-эксцентриков, допускающих чудачества, не обязательно совместимые с профессорским достоинством. Об этом, однако, напишу позже, когда по очереди приступлю к описанию характеров личностей, которые формировали мой разум. Сначала закончу об отделении.

Итак, тогда я поступил на юридическое. После окончания всех вступительных формальностей я познакомился с внутренним распорядком учреждения и с расписанием. И когда начались занятия, просидел в аудитории, в которой изучались предметы, не помню сколько часов до и после полудня.

«Я на юридическом? На юридическом?» – повторял я непрерывно, напрасно пытаюсь придать этому событию красоту поступка, основанного на желании угодить отцу.

«Я на юридическом?» Удивляло меня это и грызло. Терзало и не давало спокойствия. В таком настроении я заснул. «*La nuit porte conseil*», – гласит французская пословица. Ночь разрешила для меня выбор отделения, вернее, разрешил его сон. Приснились мне похороны математики, и такую во мне это вызвало тоску по покойной, что я внезапно разрыдался. Во сне я рыдал, как бобер, смочив слезами подушку. В слезах я проснулся и, вытерев их, сказал: «*Alea jacta est*».

Написал в дирекцию лица заявление, в результате которого я еще в течение этого дня перевелся на отделение физико-математическое.

«Почему не на камеральное?» – спрашивали у меня приятели.

Почему? Трудно ответить. Наверное, интерес к этой отрасли науки. Скорее всего так. Должен, однако, сказать, что интерес этот не с неба мне на голову свалился. Он вытекал из особенных способностей к математике. В этом последнем не было ничего необычного. Природа одарила меня смышленостью. Я учился математике с такой же легкостью, как и истории, географии и другим наукам. Если способности особенные и проявлял, то в области литературы, к которой вовсе не стремился. Литературная карьера не привлекала меня, я ее даже не рассматривал. Стихи писал для себя – для удачного и выразительного высказывания чего-то, что

исходило из самого сердца. Чтобы ее избрать своей специальностью, сделать карьеру и придать этому научный характер – ничего похожее мне и не снилось. Мою тягу к математике приписать не могу ничему другому, как только влиянию того же человека, который меня к юриспруденции подталкивал, но при каждом случае о математике выражался с большим уважением. Откуда же это противоречие? А противоречия в этом не было никакого, поскольку, с одной стороны, шла речь о зарабатывании на хлеб, а с другой стороны, речь шла о науке. Математику с заботой о будущем сына отец посвящал более доходной профессии.

Однако он невольно математику разуму моему и сердцу привил оказанием ей большого уважения. Таким образом, породил он во мне к этой науке интерес. Факт этот доказывает силу родительского влияния в вопросах воспитания.

Симонович считал, что движение денег – и есть основа жизни. А в доказательство этого доставал из кармана рубль и пускал его вращаться на столе, показывая при этом на него пальцем и восклицая: «Смотрите, господа, как он крутится и бежит. Что за жизнь, что за движение мчится!». Был противником моды. А когда говорил о влиянии ее на промышленность и торговлю, то (помимо того, что употреблял досадные эпитеты) к тому же сбегал со своей кафедры, на голову надевал цилиндр и, оборачиваясь, высмеивал для наглядного примера свой личный фрак и головной убор. Основным предметом его насмешек были полы фрака. «Зачем они нужны?» – спрашивал он, стоя к слушателям спиной и разнообразно перекладывая эти украшения мужской одежды. Интересные вещи рассказывал и о женских костюмах.

Как я уже упоминал выше, он относился к типу профессорско-эксцентриков, что имело большое влияние на учащуюся молодежь. Эксцентричность делала популярным и его, и преподаваемый им предмет. Благодаря ему политическая экономия вошла, так сказать, в общественный оборот. Почти каждая лекция Симоновича становилась предметом обсуждений и дискуссий между слушателями всех отделений.

К числу эксцентриков относились еще двое из профессоров – Мурзакевич и Кароль Брун. Первый преподавал историю рус-

скую и древнего мира. Второй – чистую математику. Эксцентричность Мурзакевича состояла в увлеченности археологией, особенно предметами античности, найденными на Таврическом полуострове. Археология заслоняла ему горизонт, кроме нее, он ничего не видел. Даже историю. Сухость преподавания не оживляла его лекции и не вызывала заинтересованности предметом в такой мере, в какой может заинтересовать античность. Что же касается К. Бруна, то его эксцентричность относилась больше к внешности, которой его одарила природа, – высокому росту, внушительному животу, полному лицу, короткому носу и великолепной лысине. Предмет свой преподавал хорошо и увлеченно. С увлечением, которое уносило его так далеко, что иногда возле доски, обливаясь в летний день потом, он той же тряпкой, которой вытирал доску, вытирал и свое лицо. Это добавляло ему необычайно интересный внешний вид. Из аудитории выходил, как будто с мельницы – обсыпанный белым порошком с ног до головы, а на его круглом красном лице виднелись полосы, смешно отпечатанные от больших серебряных очков.

О других преподавателях не очень много можно рассказать. Некоторые в наших глазах считались знаменитостями. Такими были и Нордман (естествознание), Хассхаген (химия) и Филип Брун – родной брат Карла (всемирная история). Не завоевали они, однако, славы за пределами Одессы. С их фамилиями никогда не встречался позже, когда присматривался к научному миру за границей. Не были они известны даже в Киеве. Кто-то из них преподавал лучше, кто-то хуже. Очень хорошо читал лекции Михневич (философия), не хуже Левтеропуло (физика). Я также слышал хорошие отзывы о Бекере, который преподавал римское право. Были, однако, и такие, которых лекции явно утомляли. Старались их прочесть, чтобы поскорее избавиться, как будто отработывали повинность.

В общем, профессорское обучение в Одессе если и отличалось от учебы, с которой познакомился за границей, то ненамного. Все в мире университеты систематизируют знания, указывают направления на пути научных открытий, ставят директивы. Одесский лицей заданию этому соответствовал в том разрезе, в котором его выполняют «малые университеты», занимая положение

между средней школой и такими крупными научными учреждениями, как, например, Сорбонна или университеты Берлинский и Венский. И даже когда я впоследствии слушал лекции в этих университетах, вспоминались мне одесские преподаватели, и некоторые из них из этих сравнений выходили с триумфом. Несомненно, одесскому лицу недоставало многих вещей с точки зрения научной помощи – не было библиотеки, музея и лаборатории. Но в те времена это не являлось ни исключением, ни особенностью. К. Вогт рассказывал, что этими же недостатками пятьдесят лет назад страдали и немецкие университеты, даже Берлинский.

Многонациональность среди студентов отражалась и среди преподавателей. Нордман – рыжеволосый человек невысокого роста, хромой, возбуждающий в студентах большое уважение к своей личности, – был финном, Хассаген, который преподавал по новой на то время системе Берцелиуса, был учеником Берцелиуса и его соотечественником. Брюны (один и другой) – немцами, Симонович – сербом, Левтеропуло – греком, Петровский (астрономия) – кажется, поляк.

К учебе я сразу приступил с энтузиазмом. Однако энтузиазм натолкнулся на препятствия, которые преодолеть или обойти мне не позволяло мое любопытство. Ох уж это любопытство!

Деньги не составляли больших сумм. Жизнь в те времена была намного дешевле, чем сейчас. Человек, который располагал 10 рублями ежемесячно, мог иметь порядочную комнату и приличное питание. Была это средняя цена проживания и питания. Отец мне содержание это определил, наказывая, чтобы я точно его придерживался. Любопытство отбирало у меня рубль за рублем и быстро опустошало кошелёк, вызывая непредвиденные расходы в составленном в Немирове бюджете, такие, например, как театр, кондитерская, концерты и т. п. В театр я ходил с удовольствием. Итальянская опера живо увлекла меня из-за пения и из-за певиц, две из которых в Одессе производили фурор и делили общество на два противостоящих лагеря: на сецци-корсистов и скалесистов. Одни были поклонниками Сецци-Корси, женщины немолодой, но – как утверждалось – имеющей высокую школу. Другие – Скалеси, молоденькой и очаровательной девушки, поющей сопрано и выступающей с отцом, который пел басом.

Я присоединился к последним. В театре бывал столько раз, сколько Скалеси фигурировала на афишах, и аплодировал ей так, что у меня руки болели. Восхищались ею многие, среди них и один зажиточный шляхтич с Подолья, который взял ее в жены, и которому она, как слышал, нарожала кучу ребятишек.

Восхитительна она была в «Севильском цирюльнике», исполняя роль Розины, в то время как отец ее играл Фигаро. Каковым же было мое удивление, когда двадцать четыре года спустя я вновь увидел на сцене в Париже старого Скалеси в той же самой роли! Вспомнилась мне его дочка, вспомнились мне букеты, которые ей преподносил.

Расходы эти, в моем бюджете не предвиденные, помимо других, таких же непредвиденных расходов, сильно исчерпывали мои финансы. Вынуждало это меня к написанию красноречивых писем отцу. Кто знает, возможно, именно эти письма породили во мне литературный талант. Отец стиль их хвалил и наверняка за стиль деньги мне досылал.

За этими расходами следовали и другие: потеря времени повлекла за собой то, что я запустил учебу. Дошло до того, что за исключением математики, которую я редко пропускал, на других лекциях – почти не присутствовал. На ботанику, например, я заглянул несколько раз в самом начале, а затем вообще не ходил. Удовлетворение любопытства в отношении множества предметов и случаев, с которыми столкнулся сельский житель в большом городе, полностью поглощало мое время и мое внимание. Интерес исходил из интереса, дневные часы, во время которых ничего интересного не происходило, мелькали с молниеносной скоростью, вечером же, если погода позволяла, любопытство увлекало меня либо на бульвар, расположенный над морем возле памятника Ришелье и «гигантской лестницы», спускающейся на берег среди обломков скал (слышал, что на их месте сегодня располагаются сады); либо же в «Пале-Рояль», в котором в определенные дни играл военный оркестр и кружилась элегантная публика. Элегантная публика, чудесные наряды, благоухание, образы и прикосновения прекрасных женщин, через толпу которых необходимо было протискиваться по пешеходным дорожкам, – оказывали пьянящее воздействие,

изгоняющее из мыслей не только ботанику, но даже и математику. Согласно всему окружающему, уравнения складывались иначе, чем в аудиториях. Скорее всего, окружающий меня мир и его увлечения превращались в аудиторию, наполненную учебой и поэтапными подсказками. Эту учебу и подсказки математика складывала в формулы, включая в них данные не только из элегантного мира, но также и из того мира, который, составляя основу общества, тяжело работает на станках, на улицах, в складах, в промышленности, в торговле, в сельском хозяйстве и заливается водкой по шинкам.

В этом направлении любопытство подталкивало меня к наблюдениям и желанию получить ответы на вопросы. Те ответы, которые я напрасно бы пытался найти на лекциях Брунов, Мурзакевича, Нордмана, Михневича и других.

Нельзя сказать, чтобы это не имело своей пользы. Польза зависит от некоторых определенных условий, и не каждому она может пригодиться.

Школьный год пролетел для меня, как будто одна минута. Пришел май, а с ним и экзамены. Переход на второй курс разрешался только при условии удовлетворительной сдачи экзаменов.

«Смогу ли перейти?» – спросил я сам себя.

Совесть давала мне отрицательный ответ, но рядом с совестью находилось упрямство, которое можно объяснить наличием шляхетских амбиций.

Никогда в жизни я не трудился так много и с таким усердием.

В подготовке и учебе проходили мои дни и ночи. Я лез из кожи вон и сдавал экзамены один за другим.

Помню, что перед физикой я не спал несколько ночей подряд. Еле доплелся до кабинета физики, и когда наконец сдал экзамен, то дошел до дома, держась за стены и с передышкой. Мои силы немного укрепил сон: я проспал без перерыва двадцать четыре часа.

Наступил экзамен по ботанике. Поскольку правила позволяли не сдать один из предметов, я предназначил на это разрешение ботанику. Не готовился к ней вообще. Вместо того, чтобы корпеть над записями, я ездил на хутора, бродил по рощам, проверял правила очередности морских волн, прислушивался к их шуму,

наблюдал за кораблями, которые показывались и пропадали на горизонте, следил за полетом чаек, купался в море, вечерами устремлялся в оживленную толпу благоухающих дам. Вечером перед экзаменом пошел в театр, поел как следует, выспался и на завтра явился на экзамен с чистой совестью и с принятым решением – его не сдать. Случай распорядился таким образом, что я сел на скамью возле В. Д., моего товарища, который ботаникой очень интересовался. В. Д. принес с собой несколько книжек, а также большой букет цветов и растений.

«Знаешь, я ведь совсем не готов», – прошептал я ему.

В. Д. пожал плечами.

«Не мог бы ты мне что-нибудь показать?» – спросил я у него через минуту.

«Ладно. Что-то я тебе покажу, – ответил он, – возьми хотя бы и посмотри это».

Он пододвинул ко мне книжечку по ботанике, которую я открыл и попал на классификацию растений. Классификация меня заинтересовала. Я прочитал ее один раз, затем второй и захотел узнать, как на растения распространяется принадлежность к классам и семействам. В. Д. продемонстрировал мне ее на каком-то цветке и на бодяке. На этом ограничивалось все мое обретенное в течение пятнадцати минут знакомство с ботаникой. С этим запасом знаний, когда моя фамилия была названа, подошел к столу, на котором лежали карточки с вопросами и охепками растений, вытянул вопрос о классификации, распознал класс на бодяке и удивил профессора.

«Никогда я Вас в аудитории не видел», – проговорил он.

«А я вот господина профессора видел», – ответил я уклончиво.

«Хм, видно, что ботаникой Вы занимались».

На это замечание я промолчал.

В моем дипломе стояло по ботанике «отлично».

По этому поводу угрызения совести терзают меня по сей день. В последующие годы несколько раз пробовал выучить ботанику; в Женеве какое-то время ходил на лекции. Однако другие занятия меня отвлекали и не позволили расплатиться за молчание, которое когда-то обмануло Нордмана. Закончу свои дни с этим угрызением совести.

Однако отставляю в сторону свои размышления по этому вопросу, а вернусь к Одессе и опишу ее с той стороны, с которой мне тогда представилась ее общественная жизнь.

Хочется вспомнить об одном человеке, забытом поэте, одаренном настоящим талантом, который блеснул и пропал, как огонек на болотах. Произведения его вышли в особом издании. Некоторые из них опубликовала «Русалка» – ежегодник, издаваемый Александром Грозой. Большая часть пропала, а может, где-то и прозябает в рукописях. Этого поэта звали Юзеф Котони. С его поэтическим талантом сочетался талант музыкальный – как исполнителя, так и композитора. Одна из его мазурок, исполняемая во всех домах, где только было фортепиано, до сегодняшнего дня звучит у меня в ушах, когда вспоминаю свои молодые годы. Помню несколько куплетов. Первый начинался так:

Эй же, братья, ближе в круг,
Кто где может, пусть садится.
Прочь от нас грусть навек,
Вместе братья – и весело!

К веселости взывая, сам, однако, примером ее не являлся. Истории его жизни не знаю. Согласно звучанию его фамилии допускаю, что на нивы наши привели его судьбы, подобные тем, в результате которых расцвел на них Шопен. Скорее всего, отец его или, может быть, дед прибыл к нам из-за Апеннин и, женившись, свил здесь семейное гнездо. Внешность его не указывала на иностранное происхождение. Имел вид обычного украинца: среднего роста, сухой, смотрел на мир голубыми глазами, лицо его украшали пышные усы палевого цвета. Несколько лет он жил в Лещиновке под Уманью, работая учителем музыки. Слышал я в то время рассказы о нем. Котони считался нелюдимым. С домашними соприкасался только настолько, насколько необходимость этого требовала, гостям не показывался вообще. Ни за какие сокровища невозможно было уговорить его сыграть в салоне на фортепиано.

Послушать его игру можно было лишь украдкой, стоя под окнами, где он жил и играл для себя на своем фортепиано.

После лекций он уединялся – читал, писал, играл и совершал уединенные прогулки. Покинув Лещиновку, стал проживать в Одессе, на концертах не старался выделиться, но лекции его были чрезвычайно востребованы.

Не припомню, как мы сошлись и каким образом между мною и ним завязалось более близкое знакомство. Кажется, что студентов Котони не сторонился (так, как гостей в Лещиновке), и охотно принял мое приглашение отведать пасхальную свяченную еду, которую мне прислала мама в полном комплекте и в таком количестве, что я ее вместе с коллегами за неделю с трудом мог одолеть. В первый день праздника собралась у меня довольно большая компания; все разместились, где только могли, а затем, после вкушения Божьих даров, мы разошлись. Котони, я и небольшая компания моих друзей вышли вместе.

«Не зайти ли нам ко мне?» – спросил Котони, когда мы проходили мимо его жилища. Мы зашли, продолжая разговор, который завязался между нами. Все заняли места на стульях и диване. Котони медленно ходил, время от времени что-то говоря, а затем замолк. Наша беседа стала угасать.

Один из студентов начал тихо насвистывать мелодию какой-то украинской думы. Наступило молчание. Неожиданно раздался голос Котони: «Эх, сыграю я вам...».

Он сел к фортепиано и, нарушив покой клавиш, сыграл одно музыкальное произведение, затем – второе.

Мы слушали его игру замороженные, по той причине, что в том, что он исполнял, выразительно звучала привычная и знакомая каждому тема.

Играя, повернулся и сказал с грустной претензией в голосе: «Слышите? Французы нас обворовывают».

Произведения, которые он играл, были произведениями Шопена. Он не знал, и мы тоже не знали, что произведения эти вовсе не являлись кражей. О национальности Шопена в то время в наших краях еще никто не знал.

Если бы я фамилию Котони написал и ничего бы больше о нем не рассказал, его бы также считали иностранцем. Шопен был и останется в памяти. А о нем забыли. Занимал он места мало,

и место это было скромным. Скромным оттого, что талант свой Котони скрывал.

Что с ним случилось? Где его останки покоятся? Оставил ли после себя какое-то наследие?

На все эти вопросы ответить не умею и не могу. Кто-то, однако, должен что-то знать. Мазурка на слова и музыку Котони звучала в те времена в ушах целого поколения.

С Котони я виделся редко. Вообще, знакомства с жителями Одессы не отнимали у меня много времени и не отвлекали от учебы.

